



Алекс Тарн

Алекс Тарн

0-0

«Вимбо»

2012

Тарн А.

О-О / А. Тарн — «Вимбо», 2012

Действие романа «О-О» происходит в Комплексе – огромном недостроенном здании, которое досталось нынешней реальности в наследство от прошлой – полной иллюзорных надежд на мир и благоденствие. Именно тогда в пустыне между Иерусалимом и Рамаллой приступили к строительству этого бетонного монстра, замышляемого как центр большого промышленного района, открытой экономической зоны, сердца Нового Ближнего Востока. Затем пришла война, надежды умерли, а здание осталось. Осталось как мираж в пустыне, как памятник виртуальной действительности, как призрак несбывшегося. Возможно, поэтому столь призрачны его нынешние обитатели... Роман «О-О» вошел в длинный список «Русской Премии – 2012».

© Тарн А., 2012

© Вимбо, 2012

Содержание

1	6
2	12
3	20
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Алекс Тарн

О-О

© Алекс Тарн 2012

* * *

1

Дикий Ромео влез на крышу корпуса Би ночью, во время полнолуния. Вообще-то у него было какое-то другое, стандартное человеческое имя, но в Комплексе этого костлявого семнадцатилетнего парня звали именно так – из-за шекспировских масштабов неразделенной любви и дичайших способов ее выражения.

Как-то раз от нечего делать Призрак подсчитал протяженность внутренних стен Комплекса, включая подвал. Подсчитал примерно, на глазок – в некоторых местах он не бывал ни разу, так что приходилось делать допущения, по аналогии с другими этажами. Получилось не хило – около двадцати километров. И на всем их протяжении, куда ни глянь, красовались граффити, исполненные краской, мелом, углем, дерьмом, кровью.

Разумеется, авторство этих художеств принадлежало не одному только Дикому Ромео. На стенах и потолках оставляли свою пачкотню все кому не лень – и анхуманы-сатанисты, и гиды Мамариты, и хомячки с лохами, и люди Барбура, и бомжи, и даже забитые перепуганные нелегалы. И тем не менее во всем гигантском Комплексе трудно было найти такую точку, из которой не просматривались бы по крайней мере три надписи, сделанные рукой Дикого Ромео.

Они не отличались оригинальностью: судя по всему, всеобъемлющее чувство не оставляло в душе влюбленного даже минимального простора для воображения. «Тали! Тали! Тали!» – стонали неоштукатуренные стены коридоров. «Я люблю тебя, Тали!» – с готовностью отзывались балки перекрытий. «Тали! Тали!» – эхом повторяли межоконные проемы. «Я люблю тебя, Тали!» – вторили балкам бетонные плиты потолков и мощные пилоны подвала. И снова: «Тали! Тали! Тали!» – без предела, без смысла, без удержу – словно нескончаемым отражением в бесчисленных, передразнивающих друг друга зеркалах.

Уже одного этого хватило бы для диагноза, но главное безумие Дикого Ромео проявлялось почему-то именно в полнолуние, выходя на пик силы и совершенства одновременно с ночным светилом. Стоило лунному месяцу вступить в свою вторую декаду, как на Ромео напала странная сонливость, которая, казалось, только нарастала с каждым часом. Он становился рассеян и переставал рыскать по Комплексу в поисках свободного клочка, достойного быть украшенным именем любимой. Чем больше округлялась луна, тем реже Ромео поднимался с матраса в комнате гидов на восьмом этаже корпуса Эй. Днем он спал, а с наступлением темноты садился и так сидел, привалившись спиной к стене и задумчиво уставившись через широкий оконный проем на пустыню, голубую от лунного света, а расшалившийся ночной сквознячок беспрепятственно катал по полу забытые баллончики с краской.

Это началось давно – еще до появления Призрака. Собственно, он и оказался-то в Комплексе лишь для того, чтобы подменять Дикого Ромео во время приступов лунатизма. Кто-то ведь должен был отвечать за экскурсии и собирать дань с лохов и хомячков... Поначалу Барбур, хозяин Комплекса, еще пытался вернуть лунатика в норму. Но безуспешно – Дикий Ромео не реагировал ни на уговоры, ни на тумачи. Позже выяснилось, что его безумие привлекает чувствительную публику, особенно – романтически настроенных девиц. И Барбур тут же отстал, сообразив, что не надо мешать делу, когда оно поворачивается к лучшему, то есть к большим деньгам. А Ромео стал еще одним брендом Комплекса – на манер анхуманов, призраков и собак. Ну и, конечно, О-О. Хотя О-О нельзя назвать брендом. О-О вообще никак не назвать, потому что для О-О нет слова.

В ночь полнолуния, когда над гребнем восточного хребта появлялся тоненький, едва различимый в предвечерних сумерках краешек идеально круглого диска, Ромео вставал, потягивался и шел к лестнице, ведущей на крышу корпуса Эй. Не отрывая глаз от луны, он подходил к самому краю и застыл там на сорокаметровой высоте. Чего именно он ждал, так и осталось

неизвестным. Проходили часы, а Дикий Ромео все продолжал торчать над бездной в полной неподвижности, подобно мраморной статуе на карнизе итальянского дворца.

Экскурсанты, которых Призрак размещал для спецпоказа на рампе в хозяйственном дворе Комплекса, начинали проявлять нетерпение, и какой-нибудь особенно бестактный хомячок непременно вылезал с вопросом:

– А когда он будет кричать? Уже ведь совсем темно...

– Когда будет, тогда будет! – обрывал наглеца Призрак. – Кому скучно, тот пусть топает домой, к маме. Никто здесь никого не держит.

И хомячок послушно захлопывал свою тупую хлебoreзку. За экскурсию в полнолуние с лохов брали по двести пятьдесят шекелей – почти втрое дороже обычного тарифа, деньги вперед.

Наконец огромная желтая луна целиком выкатывалась наружу и на минутку-другую застыла у кромки неровного, словно мышами изгрызанного горизонта... изгрызонта... Временами Призраку казалось, что причиной этой странной задержки был не кто иной, как сам Дикий Ромео: луна замечала его неподвижную ждущую фигуру на крыше и приостанавливалась в замешательстве, прикидывая, не лучше ли повернуть назад. Но мощь всемирного тяготения пересиливала страх, и луна, постепенно бледнея и уменьшаясь в размерах, принималась осторожно ползти вверх по дырявому куполу неба.

И в этот момент тишину замершей в ожидании вселенной пронзал оглушительный вопль Дикого Ромео: «Тали! Тали! Тали! Я люблю тебя, Тали!» Это всегда становилось неожиданно, хотя и повторялось ежемесячно. Но, видимо, у луны короткая память или она слишком занята другими проблемами – например, непрерывной ликвидацией ущерба. Так или иначе, дикоромеоов крик всякий раз заставлял ее врасплох. Бедняжка вздрагивала в крайнем испуге и, едва удержавшись наверху, судорожно вцеплялась в ветхую небесную ткань, отчего в последней немедленно проклеывались новые звездные дыры.

Хомячки на рампе единодушно выпускали вздох, словно превращаясь в одно существо, в одного большого тупого противного хомячину, или скорее даже – хомячиху, а голубые холмы пустыни подхватывали пронзительный любовный зов и, покидав его, как мячик, от склона к склону, возвращали обратно эхом – многократно усиленным, но непоправимо искаженным, чем-то вроде «...блюю... ебя... али!!!».

– Тали! Тали! Тали! – снова и снова выкрикивал Дикий Ромео, требовательно простирая руки к насмерть перепуганной луне, и та снова и снова вздрагивала, роняя белый обильный пот с белого круглого живота... белые капли лунного пота, белые брызги лунной световой взвеси, белого лунного тумана, белой лунной месячной крови.

А Ромео срывался с места и принимался бегать.

Он бежал по самому краю крыши, по самому краю жизни, по крошащемуся бетонному бордюру, не глядя под ноги, то и дело спотыкаясь, теряя равновесие и зависая над пропастью одной ногой... – «Ах!» – выдыхала противная хомячиха на рампе – и тут же чудом выправляясь при помощи отчаянного взмаха рук... – «Ух!» – синхронно отзывалась хомячиха. Он просто бежал и кричал, но Призраку казалось, что Дикий Ромео продолжает рисовать свои любовные граффити – только там, на крыше, он создавал их не краской, а криком – своим пронзительным криком и белым лунным потом, белой лунной кровью на черной простыне неба.

Где-то далеко внизу на шоссе останавливался патрульный хаммер, трое неторопливых парней в форме спрыгивали – крепкими ботинками в голубую дорожную пыль – и закуривали, щурясь на темную громаду Комплекса и нежно прижимая к груди свои родные – роднее родной матушки – автоматы.

– Опять он?

– Ну да. Каждое полнолуние, как часы.

– Неужели из-за бабы?

– Ага... Докуривай и поехали.

Проходил час, другой. Луна забиралась в такие выси, где могла чувствовать себя в безопасности, и мало-помалу прекращала потеть. Большая хомячиха толпы, устав от переживаний, вновь распадалась на мелких хомячков и лохов, которые, в свою очередь, принимались зевать и постепенно расходились. Проводив клиентов, отправлялся на боковую и Призрак. Патруль на следующем витке своего маршрута уже не проявлял к происходящему прежнего интереса. Последним сдавался сам Дикий Ромео. Окончательно ослабев, он опускался все на тот же бордюр кровли и затихал, забывшись в глубоком сне. Утром он спускался на Эй-восьмой этаж белый от страха, потому что в обычном своем состоянии боялся высоты, и можно только представить, как пугало беднягу пробуждение на самом краю бездны.

Друзья-гиды встречали Ромео сочувственно. На плитке у сердобольной Мамариты ждали специально приготовленная овсянка, кофе и любимые Диким Ромео картофельные оладьи-драники. Перекусив и встряхнувшись, он возвращался к повседневности, то есть снова принимался водить экскурсии, собирать дань с лохов и вести сложные денежные расчеты с Барбуром, а в перерывах между этими занятиями – оставлять любимое имя повсюду, куда только доставали мел, уголь, авторучка или струя краски из аэрозольного баллончика. И так – до следующего раза, до начала очередной второй декады, до нового припадка, неотвратимого, как фазы луны, как заунывные повторы монотонной пастушьей флейты. И казалось, ничто не может помешать этому порядку – вечному, как луна и как флейта, пока сам Дикий Ромео не изменил ему в пятнадцатый день осеннего месяца мархешвана.

Призрак узнал об этом слишком поздно. Он как раз рассаживал на рампе группу из двадцати хомячков, когда где-то в недрах Комплекса зародился знакомый грохот и стал нарастать, приближаясь. Это разозлило Призрака, ибо абсолютно противоречило правилам Комплекса. Даже самая гениальная картина требует достойной рамы, и романтическое представление на краю крыши не являлось в этом смысле исключением. По опыту, пронзительные вопли Дикого Ромео лучше всего обрамлялись полной тишиной и торжественной робостью публики. Не скрывая раздражения, Призрак строго-настрого наказал хомячкам не двигаться с места и поспешил навстречу шуму. Он перехватил Чоколаку в коридоре Би-первого этажа, хорошенько потряхнул, взяв за грудки, и только после этого зашипел в испуганное черное лицо:

– Ну что ты гремишь своими сапогами? Ты что, тише не можешь? Ты что, у себя в Эфиопии так же гремел? Ты ведь там босиком бегал, правда?... Вот и тут босиком будешь, я тебе обещаю... Сколько раз повторять: во время экскурсии никакого шума! Ни-ка-ко-го! Понял?!

Чоколака не вырывался, а только хрипел, панически вращая глазами; ослепительные белки мелькали в темноте коридора, как полицейская мигалка-чоколака. Никогда еще кличка эфиопа не выглядела настолько уместной, и Призраку стало смешно.

– Понял? – уже значительно мягче переспросил он и ослабил хватку. – Ты же знаешь – это его последнее шоу. Мог бы и поаккуратней. Тише ходишь – толще будешь.

– Сам ты у себя в Эфиопии босиком бегал, – обиженно сказал Чоколака, потирая шею. – А я тут родился и Эфиопии в глаза не видал. И вообще – меня Беер-Шева к тебе послал, срочно. А ты сразу душить...

Призрак смущенно кивнул.

– Ну извини. Хотя шуметь все равно нельзя, что бы ни случилось. А что, кстати, случилось? Только быстро, Чоколака, у меня там два десятка хомячков на рампе. Еще расползутся по этажам, ищи их потом...

– Это Ромео... – прошептал эфиоп. – Что-то с ним не в порядке...

Из поспешного и сбивчивого рассказа Чоколаки выходило, что на сей раз, встав с матраса, Дикий Ромео не воспользовался, как обычно, ступеньками, ведущими на крышу корпуса Эй, а проследовал дальше, повернул направо в коридор корпуса Би и, дойдя до его внутренней лестницы, стал подниматься. Беер-Шева, который, почуяв неладное, шел за ним, беспрестанно

уговаривая вернуться, сначала решил, что Ромео хочет повидаться с Барбуром или с кем-то другим из обитателей Би-девятого этажа, но лунатик миновал резиденцию Барбура, даже не повернув головы. Не доходя до Би-десятого уровня, Беер-Шева сделал последнюю попытку удержать Дикого Ромео, но опять безуспешно – тот продолжил свой путь вверх, напрямик в запретную зону. Тогда Беер-Шева вернулся и послал Чоколаку к Призраку за инструкциями.

– У него даже не было с собой фонаря... – добавил эфиоп, словно оправдываясь.

Призрак кивнул. У него и в мыслях не было обвинять Беер-Шеву в малодушии. С фонарем или без фонаря, выше девятого этажа корпуса Би не поднимался никто. Вернее, никто из отважившихся на это безумцев не возвращался оттуда живым. По крайней мере, так утверждали легенды Комплекса, а «легенда» далеко не всегда означает «выдумка», особенно когда речь идет о Комплексе.

– Что делать, Призрак? Может, позовем Барбура?

– Поздно уже, братан... – сказал Призрак после минутного размышления. – Раньше надо было вязать, да кто же знал? Пойдем, пока хомячки не заскучали. Разбегутся – вообще балаган будет...

С тяжелым сердцем они вернулись на рампу.

Хомячки и не думали скучать – задрав головы и возбужденно переговариваясь, они топтались во дворе. Призрак пересчитал клиентов и вздохнул с облегчением – все двадцать на месте. Хоть в этом повезло...

– Алло, парень, – прервала ход его мысли развязная девица с биноклем. – Ты, помнится, говорил, что на самый верх центрального корпуса не пройти, и все такое. Типа, верная смерть, и все такое. О-О, и все такое... Говорил ведь, правда? Тогда как он туда залез?

– Кто, куда? – успел переспросить ее Призрак, прежде чем Чоколака дернул его за рукав и указал вверх.

На головокружительной высоте крыши корпуса Би можно было ясно различить тонкую фигурку Дикого Ромео. Он стоял точнехонько на углу, в двадцати метрах выше кровли восьмизаэтажного корпуса Эй, то есть в двадцати метрах выше своего обычного полнолуного поста. Призрак заметил его так поздно только потому, что по привычке искал лунатика совсем в другом месте. Но Дикий Ромео действительно был там, на самой верхотуре! Он умудрился пройти! Пройти без фонаря, загадочным образом миновав легендарные провалы и ловушки! Это казалось немыслимым...

– Ну так как же? – не отставала девица.

– Заткнись, дура, – намеренно грубо отвечал Призрак, не отрывая глаз от Дикого Ромео. – Это чудо, поняла? Чудо чудное... Так не бывает...

– А хамить-то зачем? – сказала девица, напуская на себя оскорбленный вид, и оглянувшись, ища глазами заступника.

На экскурсии хомячки приходили как минимум парами, а то и крупными стаями, так что заступник непременно присутствовал. «Давай-давай, – радостно подумал Призрак. – Сейчас я вам мозги вправлю, лохи поганые...»

– Да, вот именно, – солидно выговорил парень лет двадцати. – Деньги-то взял, зачем же...

– И ты заткнись, лошара, – надменно процедил Призрак. – Права они качают, хомячки вонючие... Вывеску на заборе видели? А будку охранника у ворот? Комплекс – запретная зона. Запретная! А это значит – штраф три тысячи с рыла плюс уголовное дело. Вот как свистну сейчас, да как менты налетят, куда вы тогда денетесь, лохари? Я-то спрячусь, а вы куда побегите? Ну что, свистеть?

Он достал из кармана свисток и покрутил его на пальце. Чоколака улыбался, хомячки испуганно переглядывались. Призрак подождал еще немного и удовлетворенно кивнул.

– То-то же. Вы сюда смотреть пришли, удовольствие получать – вот и получайте. А кому не нравится, может катиться. Условие какое было? Гида слушать во всем, вот какое. Для вашей

же безопасности, дураки. Чтоб в дыры не провалились. Чтоб собаки вас не задрали. Чтоб ваших же телок суданские нелегалы на шашлык не натянули. Вот ты, с биноклем, хочешь на суданский шашлык?

Девушка молчала, закусив губу.

– О'кей, – снова кивнул Призрак. – Не хочешь.

Значит, будем считать, что взаимопонимание достигнуто. Тогда позвольте узнать – что вы делаете во дворе? Я вас куда сажал? На рампу? Вот и марш на рампу! Живо!

Хомячки понуро потянулись на рампу. Чоколака смотрел с понимающим сочувствием: выволочка, которую Призрак устроил ни в чем не повинным клиентам, призвана была продемонстрировать самому гиду, а заодно и всему остальному миру, что события – под надежным контролем, что необходимый порядок соблюден, что каждая отдельная вещь пребывает на своем, заранее отведенном месте. Увы, в действительности все обстояло иначе, и, чтобы понять это, достаточно было просто взглянуть вверх, на Дикого Ромео, который по-прежнему неподвижным пальцем торчал на принципиально недоступном углу принципиально запретной Би-крыши.

Но кто мог исправить эту вопиющую несообразность? Никто. А потому им оставалось лишь ждать – ждать и надеяться на лучшее. На востоке наливалось желтым жиром огромное пузо луны, двадцать хомячков робко кучковались на рампе, в цокольном этаже корпуса Эй взвизгнула собака, взорвался и тут же смолк многоголосый лай. Со стороны корпуса Си тянуло дымом и вонью: нелегалы что-то варили на ужин – уж не крыс ли?

– Призрак... – прошелестел над ухом Чоколака, – Призрак, смотри...

Призрак поднял глаза. Тонкая фигурка на крыше пришла в движение – Дикий Ромео медленно поднимал и опускал руки, словно взвешивая на них пухлую тушку луны. Обычно сразу после этого он издавал свой первый, самый пронзительный крик. «Может, еще обойдется, – с надеждой подумал Призрак. – Лунатику ведь без разницы, где ходить, по карнизу или по шоссе – лишь бы к луне ближе. Ему что крыша Эй, что крыша Би – один черт. И на легенды лунатики плевать хотели. Сейчас вот завопит и начнет свою беготню, на радость хомячкам. Вопрос только, как его выводить оттуда потом, наутро...»

Но решать этот вопрос не пришлось, потому что Дикий Ромео не стал ждать до утра. Вместо того чтобы, как обычно, закричать, он вдруг покачнулся и съезжился, словно разом потеряв в росте не менее полуметра. Руки, еще минуту назад плавно и уверенно игравшие с лунной, теперь судорожно дергались, бессмысленно цепляясь за воздух.

– Призрак, что это с ним?

– Погоди, Чоколака...

Со стороны рампы донеслось восторженно-испуганное «ах!» хомячков; какая-то дура завизжала, и Призрак невольно обернулся. Верещала девушка с биноклем – ей было видно куда лучше, чем остальным.

– Он смотрит на нас! – кричала она, не отрывая глаза от окуляров. – Прямо на нас! Он боится! Он хочет что-то сказать, но не может... Ему надо помочь! Сделайте же что-нибудь!

Дикий Ромео качнулся назад, от края. Призрак не мог разглядеть его лица, но для того чтобы оценить состояние, в котором пребывал лунатик, этого и не требовалось – в каждом движении Ромео сквозил чрезвычайный, панический, не контролируемый разумом страх. Страх сковывал не только сознание, но и мышцы – видимо, поэтому Дикий Ромео, как ни старался, не мог сделать элементарного шага назад, с бордюра. Всего лишь шаг назад... да какой там шаг – если он не доверял своим вибрирующим от ужаса коленям, то можно было бы просто присесть и потом отползти или даже упасть на спину... хотя кто знает – что у него там за спиной... Да что бы там ни было! Что бы там ни было – это во всех случаях лучше, чем падение с высоты шестидесяти метров!

Призрак вдруг обнаружил, что кричит – еще громче и истеричней, чем девица с биноклем.

– На спину! – кричал он, сложив рупором ладони. – Падай на спину! Или присядь!

Ромео снова качнулся взад-вперед. Одной рукой он продолжал цепляться за воздух, а вторая зачем-то вытянулась вперед, к ухмыляющейся луне. Теперь уже Призраку казалось, будто парень борется с кем-то – там, наверху, будто он старается на всю катушку, прилагает все силы, чтобы отшатнуться от пропасти, налегает всем телом, всей тяжестью, всем своим неподъемным ужасом... – старается – и не может, не может – словно кто-то невидимый толкает его в спину точно с такой же силой, словно сама луна тянет его к себе, крепко-накрепко ухватившись за неосмотрительно вытянутую руку.

Хомячки взвыли; изогнувшись неведомым знаком, Дикий Ромео оторвал от бордюра ногу, еще один раз отчаянно дернулся, пытаясь оттолкнуть себя от края, от бездны, от смерти, – и полетел вниз. Он летел бесконечно долго, судорожно раскорячившись и переворачиваясь в воздухе, как пустой мешок из-под цемента. Он летел и кричал одно только слово:

– Тали-и-и!..

Крик смолк лишь тогда, когда Дикий Ромео долетел до ramпы корпуса Би. Послышался хруст и тяжелый шлепок, что-то брызнуло по сторонам. Призрака передернуло, он с отвращением отер щеку, едва справившись с приступом тошноты.

– Как же это, Призрак? Как же это... – забормотало, запричитало рядом.

Окончательно придя в себя, Призрак схватил эфиопа за плечи и встряхнул:

– Эй, Чоколака! Я с тобой разговариваю! Куда ты косишься – на меня смотри, на меня! Беги за Барбуром. За Барбуром, я сказал! Он тут босс, вот он пускай и решает. Слышал?! Пошел!

Отправив гонца, он повернулся к хомячкам. Что бы в дальнейшем ни решил Барбур – вызвать полицию или обойтись без нее, присутствие двух десятков случайных свидетелей-лохов выглядело здесь решительно неуместным.

2

– Если задерживаешься, не забудь позвонить родителям, – говорила Мамарита всякий раз, когда кто-нибудь прощался.

Сначала это раздражало Призрака, потом вошло в привычку, но привычку неприятную. Настолько, что он взял себе за правило уходить незаметно, по-английски, намеренно избегая всяких «до свидания», «пока» или «ну, я пошел». Но когда все-таки срывалось – невольно, автоматически, – и Мамарита столь же автоматически отзывалась своим вечным наставлением, Призрак, поморщившись, отвечал:

– Я сирота, Мамарита.

– До свидания, Менаш, – кивала она, явно не расслышав, а если и расслышав, то не приняв во внимание смысл его ответа.

Менаш. Менаше. Так Мамарита именovala всех парней с восьмого этажа корпуса Эй – и Призрака, и Дикого Ромео, и Беер-Шеву, и даже его черного друга Чоколаку.

– Я – Призрак, Мамарита.

– Да-да, Менаш, конечно. Значит, договорились? – и она, заговорщицки улыбаясь, изображала, будто подносит к уху телефонную трубку. – Не забудь!..

– Не забуду... – сдавался Призрак.

Призрак. Менаш. Сирота. Все это было чистой воды враньем – и первое, и второе, и третье. Если, конечно, можно уподобить вранье чистой воды. На самом деле его звали Цахи, Цахи Голан – самый младший и самый неудачный отпрыск вполне живой и, в общем, благодевающей семьи. Отец – бригадный генерал, еще с молодых лейтенантских погон метивший в начальники генштаба. Мать – известная журналистка, не слезающая с телеэкранов и газетных полос. Старший брат тоже пошел по военной линии и теперь умело продвигался от звания к званию в мощной кильватерной струе отцовской карьеры. Две сестры – обе замужем за большими деньгами, которые, как известно, всегда липнут к высоким чинам. И только Цахи – урод, тот самый, из пословицы про семью. Ни пришей ни пристегни – ни к папашиней кильватерной струе, ни к мамашинему немолкнушему микрофону...

Он и на свет-то появился нештатно – поздним, нежеланным и ненужным ребенком. В дождливом ноябре 95-го, вернувшись с похорон застреленного премьер-министра, Голаны сидели в кругу заплаканных друзей. Говорили разное – о трудном часе, общих врагах, разрушенных надеждах, о личном вкладе и личном долге. В воздухе висела неловкость: при жизни отношение к покойному было весьма непростым даже среди его ярких союзников, и теперь они вынужденно маскировали прискорбное отсутствие скорби чрезмерной ненавистью и экзальтацией. Поэтому никто из присутствующих не принял всерьез торжественный обет Ариэлы Голан родить – из принципа! – мальчика и назвать его – из принципа! – Ицхаком, в честь и вместо убиенного. А муж – тогда еще подполковник – и вовсе с трудом скрыл усмешку: Ариэле в то время было уже хорошо за сорок – не тот возраст для беременности. Тем большим было его удивление, когда той же ночью жена приступила к исполнению обещания.

– Господь с тобой, Ариэла, – пробормотал подполковник Голан, почувствовав на себе ее требовательную руку, что само по себе представляло немалую редкость в эти годы давно уже остывшего супружеского пыла. – В такой-то день, после похорон...

– Именно в такой день! – отвечала она со слезами в голосе. – Они убили одного Ицхака – мы родим миллионы новых!

Поняв, что лучше не спорить, подполковник закрыл глаза; память его привычно звала к образу молоденькой крутобедрой секретарши... – и секретарша, как водится, не подвела. Наутро, казалось, жизнь вернулась на прежние рельсы. Голан, позавтракав, отправился по месту службы, а Ариэла проснулась поздно и с ужасающей мигренью, которая разом вышибла

из нее остатки вчерашнего истерического восторга – вместе с воспоминаниями о взятом на себя безумном обете. Но увы, все это только казалось. То ли обманутое воображенными секретарскими прелестями подполковничье семя повело себя особенно шустро, то ли чрезмерная экзальтация действительно способствует возрождению почти увядшей утробы – так или иначе, но Ариэла Голан и в самом деле забеременела, совсем как престарелая библейская Сарра.

Как и Сарра, она никак не ожидала столь экстравагантной выходки от своего немолодого, отяжелевшего, насквозь прокуренного тела. Головные боли и тошнота давно уже сопровождали ее повседневными спутниками, а потому будущий Ицхак долго оставался незамеченным, пока случайный медосмотр не вывел его на чистую воду. В принципе, было еще не поздно вывести его вообще, буквально, в тазик, но женщину одолели сомнения.

Причиной тому стала еще одна случайность: всего месяц назад у старшего сына Голанов родился первенец. Взяв на руки своего первого внука, Ариэла внезапно ощутила что-то похожее на зависть к счастливой невестке и с удивлением осознала, что хочет того же – хочет ребенка. Конечно, она тут же посмеялась в душе над своими столь не ко времени вернувшимися материнскими инстинктами. Она почти сразу забыла об этом забавном казусе и не вспомнила бы о нем никогда, если бы в ее собственном животе вдруг не проклюнулась ни с того ни с сего новая, непрощенная и неожиданная жизнь.

Своими сомнениями Ариэла поделилась с лучшей подругой. Едва не подавившись мороженым, та округлила глаза и сказала с восторгом – чересчур пылким, чтобы быть искренним:

– Надо же, какая молодец! А мы-то не верили...

– О чем ты? – не поняла Ариэла.

– Ну как же... ты ведь сама говорила: в память об Ицхаке...

Тут только ей и вспомнился ноябрьский обет. В его свете открытый и преднамеренный аборт кандидата в новые Ицхаки выглядел бы не просто нарушенным обещанием, но двусмысленной, прямо-таки кощунственной в политическом смысле акцией, едва ли не повторным покушением! Последние пути к отступлению отрезал муж, неосмотрительно выразивший категорическое несогласие с намерением оставить ребенка. Подобный наглый мужской диктат Ариэла не могла вынести по чисто идеологическим, феминистским соображениям. Теперь ей оставалось надеяться только на выкидыш, который, впрочем, выглядел почти гарантированным по причине продвинутого возраста.

Но маленький зародыш упорно цеплялся за жизнь и отказывался выпадать в небытие – в итоге его не смогли вытурить туда ни горячие ванны, ни поднятые тонны, ни намеренно беспорядочный образ жизни. Он появился на свет лишь в июне – недоношенным, но живым, хотя и познавшим еще до рождения горечь материнской враждебности. И не только враждебности – с враждебностью еще можно было как-то бороться, отвечая ударом на удар, вступая в переговоры о мире, отвоевывая права, территории и в конечном счете если не дружбу, то хотя бы добрососедство. Но ложь... с ложью он так и не научился справляться.

Ложь всегда висела над ним душным ядовитым облаком – он вдохнул ее вместо воздуха, вместе с воздухом в самом первом младенческом вдохе и с тех пор жил, постоянно ощущая в легких ее зловонные пары. Поначалу, еще не зная слов, он ощущал ее всем своим маленьким тельцем, желудком, языком. Инстинкты обещали ему тепло и ласку материнских рук – обещали и солгали: руки оказались неприветливы и грубы. Лживым суррогатом из бутылочки обернулась и еда. Подделки ждали его повсюду – суррогат молока, суррогат родителей в виде постоянно менявшихся нянек и сиделок, суррогат дома в виде круглосуточных яслей, детских садов и интернатов, где он провел большую часть своего детства.

Едва научившись понимать речь, он пожалел о новообретенном умении: ложь, заключенная в слова, была куда вредней и изощренней, чем ложь суррогатов. Из слов строились целые миры – лживые от основания до свода, миры притворства и нарушенных обещаний, где

подделкой оборачивалось всё, за исключением самой лжи, которая, надо отдать ей должное, ухитрялась оставаться ложью при всех обстоятельствах.

На выходные и праздники его забирали домой для неизбежной постыдной демонстрации гостям – демонстрации, которая обычно начиналась с чьего-либо невинного вопроса:

– Как поживает преемник?

– Кто, Ицхак? – столь же невинно осведомлялась Ариэла. – Растет. Сейчас позову. Ицха-а-ак! Иди сюда, мальчик!

Понурившись, Ицхак выходил в гостиную. По прошлому опыту он знал, что непослушание не избавляет от неприятной процедуры, но лишь удлиняет ее.

– Вот! – с преувеличенной гордостью говорила мать, приобняв сына за плечи. – Живое наследие Рабина. Прошу любить и жаловать.

Мать обнимала его только прилюдно, напоказ, а потому ее рука на ицхаковом плече тоже чувствовала себя лгуньей и даже слегка подрагивала, словно опасаясь разоблачения. Вокруг немедленно расцветали фальшивые улыбки. К четырем годам мальчик уже хорошо знал историю своего появления на свет. Его жизнь имела смысл лишь в соединении со смертью другого, незнакомого морщинистого дядьки, портрет которого висел тут же, в гостиной.

– Все такой же молчун? – участливо спрашивал какой-нибудь гость и продолжал под общий одобрительный смех: – Ну ничего, оригинал тоже не отличался болтливостью.

Оригинал! Послушать их, так получалось, что маленький Ицхак и сам был суррогатом – суррогатом мертвого старика на портрете. Ложь и притворство, фальшь и подделка – они не только окружали его, но и проникали внутрь, овладевали всем его существом... Чувствовать это было невыносимо – еще до того, как он научился облекать свои переживания в слова.

– Как дела, Ицхак?

– Я не Ицхак, я Цахи, – еле слышно отвечал мальчик, уставившись в раскрашенные под мрамор плитки пола.

– Иди к себе, Ицхак, – говорила Ариэла и отворачивалась, напоследок ущипнув его в шею.

В тринадцать Цахи перешел из интерната в школу северного Тель-Авива, на домашнее жительство... – если, конечно, это можно было назвать домом. Днем у Голанов вечно толклись странные истеричные тетки в бесформенных балахонах, патлатые и очкастые. Мать покровительствовала всевозможным общественным группам левого и феминистского толка, так что временами квартира превращалась в штаб протестного движения, антиправительственной демонстрации или анархистского хеппинга. Звонили телефоны, клацали клавиатуры, рисовались плакаты.

Случалось, что в разгар сбора подписей под очередным пацифистским воззванием входил отец в форме бригадного генерала и, осторожно ступая меж расстеленных по полу плакатов «Позор армии оккупантов!», пробирался к холодильнику за бутылкой пива. Никто не обращал на него внимания – мужья большинства воинствующих пацифисток если не служили в высшем офицерстве, то чиновничали на немалых постах, что, впрочем, ничуть не снижало градуса революционного пыла Ариэлы Голан и ее патлатых подруг.

С наступлением темноты тетки уходили, унося транспаранты и списки; дневное крикливое коловращение сменялось тихим вечерним шушуканьем. Бригадный генерал усаживался перед телевизором и принимался вполголоса обсуждать с женой текущую ситуацию в генштабе – чьи-то интриги, тайные и явные планы, перспективы назначений и перестановок. Ариэла обладала немалыми связями и неограниченным доступом в медиа, так что продвижение мужа к вождельным погонам зависело от нее едва ли не больше, чем от собственно воинских достоинств Голана.

Карьерная тема, таким образом, была столь же постоянной, сколь и политическая. Выбор той или другой зависел исключительно от времени суток: день посвящался борьбе за мир и

социальную справедливость, вечер – борьбе за полное генеральство. Цахи равно ненавидел и то, и другое. Время от времени мать совершала вялые попытки пристроить его к своей дневной активности. Не в силах отговориться, он несколько раз участвовал в каких-то пикетах, пока однажды, демонстрируя у армейского блокпоста с плакатом «Долой оккупацию!», не услышал, как один солдат говорит другому:

– Смотри-ка, а мальчишка-то – голанов сынок.

– Чей-чей?

– Голана, командующего корпусом. Я их на чьей-то свадьбе видел, там и запомнил. Папаша нас тут ставит, а сын, вишь, протестует. Принц Гамлет, блин.

– Гамлет против дяди протестовал.

– Да какая, блин, разница? Играют в «как будто», мать их в...

Цахи покраснел – не столько от последовавшего замысловатого ругательства, сколько от жгучего стыда. Наблюдательный сержант попал в самую точку: жизнь Голанов представляла собой сплошное притворство, постоянную «игру в как будто», и он, Цахи, был всего лишь одним из мелких элементов этой игры – как будто Ицхак, как будто наследник, как будто преемник чего-то изначально чуждого, выбранного не им и, скорее всего, такого же ложного, как и все остальное... как и этот дерьмовый плакат, который ему неизвестно зачем сунули в руки.

Ложь торжествовала повсюду; ее уродливые гримасы виднелись в каждом окне, в каждой улыбке, в каждом приветствии. Непобедимая и вездесущая, она принимала любые мыслимые и немыслимые формы. Не размениваясь на детали, она без труда создавала огромные конструкции, крепости, империи фальши и с той же легкостью бросала их, берясь за новые. Сражение с нею походило на битву с миражами. Тринадцатилетний мальчишка с красными от позора щеками – мог ли он противостоять подобному противнику? Конечно, нет. Оставалось одно – бежать. Вот только куда?

Ответ нашелся сам собой. Как-то на выходе из школы Цахи столкнулся с бывшим интернатским одноклассником – парнем по имени Боаз. Отойдя в сторонку, уселись в тени под забором, закурили. Интернат размещался в одном из южных кибуцев, носил гордую вывеску «Школа демократии» и считался образцом социалистической интеграции детей из разных слоев общества. Собственно говоря, это и было одной из причин, по которой Голаны отослали туда своего младшего сына.

Предполагалось, что именно в «Школе демократии» мальчик лучше всего усвоит священные принципы равенства и братства. Сторонний наблюдатель непременно обратил бы внимание на то, что третья составляющая известной революционной формулы – свобода – выглядела при этом явно ущемленной ввиду строгого интернатского режима, разветвленной системы наказаний и забора из колючей проволоки. По опыту, свобода редко уживается с равенством-братством; скорее всего, ее и включили-то в знаменитую триаду исключительно в качестве приманки, заранее зная, что бедняжка погибнет первой как наименее приспособленная.

Впрочем, равенство тоже долго не протянуло.

Видимость его, тщательно поддерживаемая на уровне официального бытия, немедленно подвергалась решительному переделу, стоило лишь воспитателям отвернуться. Разве слабый может равняться с сильным? Дудки! Зато братство... – в джунглях интернатской спальни наиболее естественным способом выживания выглядело именно оно. Истинный закон братства звучал чрезвычайно просто: либо ты набьешься в братья к вожаку, либо братья вожака набьют морду тебе.

Усвоив это, Цахи недолго ходил в самых младших, хотя и восхождение его по ступенькам иерархии братства было изначально ограничено неблагополучным происхождением из благополучной семьи. Зато Боаз, гордое дитя иерухамских бандитских барачков, имел все шансы выбиться если не в вожаки, то как минимум – в очень старшие братья. Это можно было понять

с первого взгляда, по одной только внешности. Так, Цахи Голан ужасно страдал из-за своего непозволительно интеллигентного, светлого, большеглазого лица; ах, если бы он мог хоть чуть-чуть уменьшить этот уродливо-высокий лоб, хоть немного увеличить этот нестерпимо-маленький нос... – не говоря уже о тонких, отвратительно красивых губах, которые, казалось, сами напрашивались на хороший удар кулаком.

То ли дело Боаз, сосед Голана по спальне. Этот мог смотреть на себя в зеркало с законной гордостью – подобная внешность высоко котируется в интернатской компании. К примеру, лоб у Боаза отсутствовал вообще – его заменяли две великолепные надбровные дуги. Да и все остальное выглядело под стать: крошечные щелочки глаз, вечно полуоткрытый, обрамленный толстенными губищами рот, тяжелые челюсти и огромная, угреватая, вечно шмыгающая шишобелина... – о, там действительно было чему позавидовать! Но главное – Боаз пришел в интернат не с пустыми руками.

Его родной Иерухам находился не так далеко от интернатского забора – куда ближе, чем любые другие источники веселой травки, бодрящих порошков, дурных грибов, глючных колес и прочих подсобных инструментов, вырубавших голову посильнее трехкилограммового молотка. Поэтому полезные связи Боаза ценились не меньше, чем его располагающая к полному доверию внешность. У Цахи же изначально не было ни того, ни другого. Но если внешность исправить невозможно, то связи – дело наживное. Именно эту мысль внушил уже почти отчаявшемуся Голану все тот же Боаз. Богатые тель-авивские родители могли обеспечить доступ к тому, что считалось желанным дефицитом даже в иерухамских бараках.

Кратчайший путь к особо ценным таблеткам лежал через рецепты, выписанные дорогими частными психиатрами. Чего-чего, а уж этого добра Цахи мог получить сколько душе угодно. Нельзя сказать, что Ариэла вовсе не корила себя за недостаток внимания, уделяемого младшему сыну, – возможно, поэтому она с такой готовностью откупалась деньгами. Цахи оставалось лишь взять у Боаза список лекарств, слегка покопаться в интернете в поисках нужного синдрома – и система заработала с завидной бесперебойностью, к вящему удовлетворению всех участвующих сторон.

Ариэла платила, доктора писали рецепты, вожаемые колеса вприпрыжку катились напрямик в цахины руки – как из местных, так и из зарубежных аптек. Поначалу он еще заботился о том, чтобы придумывать объяснения невообразимому количеству потребляемых таблеток: потерял, забыл, выронил в унитаз... – но потом перестал за ненадобностью. Матери было решительно наплевать на детали. Открывался кошелек, поднималась телефонная трубка, доктора, пожимая плечами, ставили подпись, аптекарь доставал сверток из шкафа, Боаз восхищенно присвистывал, разглядывая добычу.

На заработанном таким образом авторитете Цахи безбедно просуществовал целых три года, поэтому встреча с партнером по прошлому интернатскому братству была и неожиданной, и приятной.

– Не знал, что ты тут, – сказал Боаз, знакомо шмыгая носом. – А вообще-то где тебе и быть. Яблочко от яблоньки...

Цахи улыбнулся. Еще год назад в «Школе демократии» он чувствовал себя белой вороной; теперь ситуация перевернулась. В этом привилегированном районе северного Тель-Авива людей с внешностью Боаза можно было повстречать разве что рано утром, на подножке мусоровоза. Да и представления о красоте и уродстве выглядели здесь совершенно иначе.

– Ну да, – подтвердил он не без некоторого мстительного удовольствия, – живу я тут. А вот тебя каким ветром сюда занесло?

Боаз важно подвигал туда-сюда тяжелыми челюстями.

– Дела, братан. Я теперь на больших людей работаю. Тебе травка нужна? Или колеса? Есть всякое, могу показать...

Он похлопал себя по карману.

– Понятно... – протянул Цахи и скептически покачал головой. – Не обижайся, братан, но тут тебе не светит.

– Почему это? Что, у вас – марсиане живут? Не зашаривают?

Цахи снова улыбнулся. Когда-то Боаз учил его уму-разуму, теперь настало время вернуть должок. Здешний район жил по другим законам, отличным от иерухамского бандитского беспредела.

– Зашаривают, отчего же. Только с таким, как ты, да еще и в таком видном месте никто заводиться не станет. Тут у своих покупают, тихо-мирно, без лишних глаз.

– А я, значит, рылом не вышел?

– Точно, не вышел, – рассмеялся Цахи. – Помнишь, как ты мне в интернате говорил: «Посмотри на себя в зеркало, урод»? Вот и я тебе сейчас то же самое скажу. Посмотри на себя, а потом на этих чистеньких-беленьких. Кто тут к тебе подойдет, братан? Разве что я, по старой дружбе...

Последнюю фразу он произнес в шутку, без какой-либо задней мысли, но иерухамец запомнил и позвонил через неделю. В квартире Голанов кипела подготовка к очередному протестному маршу, и Цахи, сидя у себя в комнате, угрюмо выводил кистью крупное черное слово «Долой!».

– Ты обещал помочь, – сказал Боаз.

– Я? – поразился Цахи. – Когда?

Боаз молча сопел в трубку. Он никогда не отличался многословностью. Рот дан человеку не для болтовни, а челюсти тем лучше держат удар, чем они тяжелее. Цахи вспомнил покатый, исчезающе малый лоб приятеля и улыбнулся.

– Ты не так меня понял, братан.

Боаз шмыгнул носом.

– Так. Ты ведь свой, интернатский. Не Беверли-хилз какой-нибудь. Короче, выходи сейчас, встречаемся в скверике у школы. Кое-кто познакомиться хочет.

Не дожидаясь ответа, он отсоединился, а Цахи отложил телефон и еще долго сидел, глядя на свои перепачканные краской руки. Из-за закрытой двери доносились голоса материнских подруг, фальшивый хохоток, громкие восклицания, возмещающие недостаток искренности силой звука и преувеличенностью интонации. Ложь звучала в каждом их слове, дышала в каждом их вдохе; они сочились ложью, как вонючие губки – грязью, они пятнали ложью все, к чему прикасались... Вот и у него на руках – не краска, а грязь, фальшь, ложь... Наследник, приемник, Ицхак...

Он почувствовал внезапный приступ тошноты и выскочил в коридор. Туалет оказался занят, обе ванны тоже; расталкивая патлатых теток и гладеньких очкариков, Цахи проскочил через усталую транспарантную гостиную в кухню и с разбегу вывалил свое отвращение в раковину. Блевотина – вот что было единственно правдивым в этом насквозь фальшивом дерьме... За спиной воцарилось молчание; Цахи вытер рот и обернулся – все присутствующие испуганно смотрели на него. «Плевать, – подумал он. – Я не ваш, я интернатский. Не какой-нибудь Беверли-хилз».

– Это, наверное, пирожки, – торопливо проговорила Ариэла, подбегая к сыну. – Или бутерброды с тунцом... или масло несвежее... Пойдем, Ицхак, пойдем. Ты закончил с плакатом?

– Закончил, – хрипло сказал Цахи и отвел ее руку. – И с плакатом, и со всем. Я – на улицу, подышать...

Через год, когда Цахи Голана арестовали вместе с десятком других мелких сошек, он был уже опытной телефонной «наседкой», важным звеном в районной сети розничной торговли травой и таблетками. Сам он не касался ни товара, ни денег – как говорил Боаз, работа бесконтактная, для чистюль. Прием заказов по телефону, только и всего. Заработок ему доставляли

еженедельно в конверте; Цахи брал, не считая, бросал бумажки в ящик стола и тут же забывал о них. Итоговую сумму ему сообщил уже следователь на допросе – Цахи в ответ равнодушно пожал плечами. Плевать он хотел на эти деньги – разве в них дело?

– Тогда зачем? – спросил полицейский и добавил, не скрывая неприязни: – Адреналинчику захотелось? Золотая молодежь, с жиру беситесь...

Цахи снова пожал плечами. Внешне следователь был чем-то похож на Боазу, но в отличие от последнего категорически отказывался признавать в генеральском сынке «своего, интернатского». Цахи и «наседкой»-то стал исключительно для того, чтобы отгородиться, отвязаться, оторваться от родителей – почему же теперь его судили именно как отпрыска «тех самых» Голанов, в самой тесной и непосредственной связи с ними? Это бесило парня и занимало его мысли куда больше, чем страх наказания. В конце концов, как могли наказать его, малолетку, да еще и по первому разу? Влепить условное? Дать испытательный срок? Заставить регулярно отмечаться в участке? Да и черт с вами – давайте, влепляйте, заставляйте... – но при чем тут маменька с папенькой, будь они прокляты?!

Но выбирать не приходилось. Полицейские чины сразу почувствовали желтый потенциал этого, в общем, крайне незначительного дела и постарались раздуть его до немыслимых размеров. На каждый цахин допрос, на каждое судебное заседание слетались репортеры – мухами на расчесанный гнойник. Цахи вылезал из машины и шел через стоянку в здание, а за ним сквозь строй объективов и диктофонов, как сквозь строй шпицрутенгов, плелась задыхающаяся от стыда и ненависти мама Ариэла в темных очках и широкополой шляпе. Ицхак-преемник... Ицхак-наследник... какой позор, позор, позор!

Зато бригадный генерал Голан не показывался на людях вообще – прятался где-то на отдаленных армейских базах. Мечты о высших должностях и полном генеральстве пришлось отставить – по крайней мере на несколько ближайших лет. И в самом деле – можно ли доверить генштаб папаше наркоторговца? Ариэла звонила, плакала в трубку, перечисляя пережитые унижения и предательства друзей; генерал молча выслушивал, отвечал сухо:

– Сама эту кашу заварила, сама и расхлебывай.

Мне он не сын, этот выродок.

– А мне? Мне он сын? – захлебываясь от слез, кричала жена.

Суд шел при большом стечении публики.

Казалось, никому и дела нет до уголовной сути процесса – всех интересовали исключительно родители Цахи Голана. Прокурор вещал о пользе правильного воспитания, адвокат напирал на заслуги семьи, взбешенный Цахи вскакивал с места и хамил судье. Все это вместе сложилось в небывало жесткий приговор – два года исправительного учреждения. Удивительным образом это решение устроило всех – и жаждущую крови толпу, которая опасалась, что власть имущие отмажут сыночка, и судейских, проявивших похвальную бескомпромиссность, и Голанов, которые меньше всего желали снова делить крышу с неблагодарным выродком, и самого выродка, по горло сытого семейными радостями и родительской любовью.

Выйдя в свой первый отпуск, он сразу позвонил Боазу. Тот обрадовался:

– Я сейчас в Иерусалиме. Езжай пока домой, отдыхай, а вечером...

– Погоди, – перебил его Цахи. – Я домой не вернусь, потому и звоню. Нет ли у тебя надежного места?

– На ночь? Конечно...

– На много ночей. Надолго.

Встретились на иерусалимском автовокзале.

– Хорошо подумал? – спросил Боаз после первых приветствий. – В бегах жить трудно. Может, лучше досидеть? Сколько тебе месяцев осталось?

– Кто считает? – весело отвечал Цахи. – Сколько ни осталось – не мои это месяцы, а мамашины. Вот она пускай и отсиживает. Так есть у тебя место?

Боаз вздохнул и покачал головой.

– Ну, как хочешь. Ты о Комплексе когда-нибудь слышал?

– Не-а...

– Поехали, покажу.

3

Чудовищное здание Комплекса высилось на огороженном высоким проволочным забором пустыре, в безлюдном месте километрах в тридцати к северо-востоку от Иерусалима. В определенном смысле его можно было считать плодом того же идеологического безумия, благодаря которому появился на свет «неблагодарный выродок» семейства Голан. Поэтому Цахи сразу ощутил личную солидарность с железобетонным монстром – солидарность бастардов, братство убожков поневоле.

Решение о строительстве принималось вскоре после подписания известных ословских соглашений, принесших почет и славу подписантам, иллюзию мира – тем, кто хотел быть обманутым, и кровопролитие – всем остальным. Впрочем, кровопролитие началось не сразу, ибо одному из миротворцев требовалось время для накопления сил и оружия. И этот узенький временной зазор между вручением нобелевской премии мира и первой автоматной очередью войны был всецело отдан во власть торжествующей Иллюзии.

Предполагалось, что Комплекс станет сердцем огромного промышленного района – самого большого на Ближнем Востоке. По замыслу визионеров, сюда, к бурым отрогам Шомронского плоскогорья и бесплодным солончакам Иудейской пустыни, должны были устремиться нескончаемые трудовые ресурсы безработного восточного мира – с одной стороны, и нескончаемые финансовые ресурсы беззаботного западного мира – с другой. Слившись воедино в творческом соитии, две столь могучие силы не могли не породить счастливого будущего – этого долгожданного младенца, о коем вот уже который век безуспешно молятся повитухи всех стран и народов.

Иллюзия всегда торопится – она похожа на ракового больного, точно знающего, что жить ему осталось недолго. А может быть, в глубине души она понимает про себя все, а придумывается из вредности – мол, погибать, так с музыкой. Так или иначе, деньги на Комплекс были мобилизованы с рекордной быстротой. Строительство тоже шло ударными темпами; инерция иллюзий оказалась так велика, что работы продолжались даже под басовый аккомпанемент близких взрывов, свирельный посвист пуль над головой и веселое ча-ча-ча автоматной стрельбы внизу на шоссе. Когда стало окончательно ясно, что вышеупомянутые трудовые ресурсы куда больше стремятся к винтовке, чем к станку, здание уже возвышалось над пустыней во всей мощи трех своих корпусов.

В плане Комплекс имел Н-образную форму с восьмиэтажными крыльями Эй и Си по бокам, двенадцатиэтажным корпусом Би в середине и шестиуровневой подземной стоянкой. Уходя, строители унесли с собой разборные леса, мостки и ограждения; до штукатурки, остекления и прокладки коммуникаций дело не дошло, а потому здание таило в себе череду ловушек, опасных даже для опытного человека. Во многих местах отсутствовали бетонные перекрытия, блоки стен, перегородки; бездонными дырами зияли шахты лифтов. Свет поступал только через оконные проемы, а в коридорах было темно и днем.

На верхних уровнях среднего здания изначально предполагалось разместить особо охраняемые конторы и предприятия, типа алмазного бизнеса, деликатных технологий и служб безопасности. По этой причине этажи Би-10, Би-11 и Би-12 пользовались дурной славой и считались непроходимыми. Там вовсе не было окон, зато полы и стены изобиловали провалами и полостями, а структура помещений напоминала лабиринт – по слухам, ибо никто не желал рисковать шеей, чтобы проверить это на практике.

По-хорошему, Комплекс следовало бы снести, но известно, что найти деньги на финансирование ошибки куда легче, чем на ее исправление. Государственные учреждения пожимали плечами: не мы строили, не нам и ломать. Частные благотворители и учредители фонда чувствовали себя обманутыми и наотрез отказывались финансировать снос. В итоге здание

обнесли забором, поставили у ворот будку с охранником и объявили все это закрытой военной зоной.

Но, как того и следовало ожидать, Комплекс недолго пустовал. Его первыми обитателями стали нелегальные иммигранты из Африки и рабочие-арабы с близлежащих строек. За ними – в поисках объедков – пришли бродячие собаки. Возможно, этим бы все и ограничилось, если бы Комплекс не облюбовала для своих ритуалов небольшая группка сатанистов, или, как они сами себя называли, анхуманов.

Анхуманы никогда не поднимались выше цокольного этажа – их вполне устраивала непроглядная темь подземной автостоянки. Место было укромным и глухим, вдали от полиции и чужих любопытных глаз. За жертвами тоже не приходилось долго гоняться: подъедающие за нелегалами собаки бродили здесь же, рядом, и легко шли прямо в руки своим мучителям. Удобство и безопасность церемоний привлекали все новых и новых адептов; секта росла, нагнала и в какой-то момент пришла к выводу, что намалеванная на стене козлиная морда заслуживает чего-то посущественней бедной собачьей жизни.

Отморозки успели замучить нескольких нелегалов. Расчет анхуманов был прост: убитых все равно не хватились бы – ведь официально они не существовали вообще. Даже бродячих собак иногда разыскивали хозяева – но этих людей не стал бы искать никто. Таким образом, сатанисты действовали совершенно безнаказанно, пока один из подростков-новичков не проговорился родителям об истинной причине своих ночных кошмаров.

В последовавшей облаве полиция накрыла и секту, и нелегалов; на месяц-другой здание перешло в полное распоряжение собачьей стаи. К тому времени собаки Комплекса уже сформировали принципиально новое отношение к людям: сатанисты приучили их видеть в двуногом прямоходящем не друга и покровителя, а злейшего врага, мучителя и садиста. Этого крупного хищника следовало остерегаться, охранять от него щенков и территорию стаи, а при удобном случае – нападать, поскольку он годился в пищу. Понемногу собаки превратились в одну из главных опасностей Комплекса – наряду с темными коридорами, острыми копытами арматуры и неогороженными шахтами лифтов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.